

## ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО



## МОИ ТОВАРИЩИ – ГЕОЛОГИ...

Эта стихотворная страничка возникла у раннего Евтушенко не случайно. Геологами были не только его “товарищи”, но и отец с матерью. Как пишет биограф поэта Илья Фаликов, **“родители были ровесниками, им было по двадцать два, когда у них появился сын. Они работали как раз в тех местах, где потом произросла Братская ГЭС. Сохранилась фотография, датированная 1932 годом. Зина спрыгивает с коня, Александр придерживает стремя, рядом горит костёр <...> Родители Жени здесь оказались не случайно. Летом 1932 года студентка 4-го курса Московского геологоразведочного института Зинаида Евтушенко, работавшая в экспедиции в бассейне Ангары, приехала к своей матери Марии Иосифовне, проживающей в Нижнеудинске, и родила первенца”**.

А в 1948 году шестнадцатилетний отрок уезжает на работу в геологоразведочную партию, где начальником является уже известный геолог, его отец Александр Гангнус. Воспоминания об этой кочевой жизни в казахской степи стали для Евтушенко основой первых поэтических сборников – “Третий снег”, “Шоссе энтузиастов”, “Обещание”.

\* \* \*

*Г. Мазурину*

Я на сырой земле лежу  
в обнимочку с лопатой.  
Во рту травинку я держу,  
травинку кислую.  
Такой проклятый грунт копать —  
лопата поломается,  
и очень хочется мне спать,  
а спать не полагается.

“Что,  
не стоится на ногах?  
Взгляните на голубчика!” —  
хохочет девка в сапогах  
и в маечке голубенькой.  
Заводит песню, на беду  
певучую-певучую:  
“Когда я милого найду,  
уж я его помучаю”.  
Смеются все:  
“Ну и змея!  
Ну, Анька,  
и сморозила!”  
И знаю разве только я  
да звёзды и смородина,  
как, в лес ночной со мной входя,  
в смородинники пряные,  
траву  
руками  
разводя,  
идет она, что пьяная.  
Как, неумела и слаба,  
роняя руки смуглые,  
мне говорит она слова  
красивые и смутные.

*19 декабря 1956*

*В этих первых “геологических” стихах поэта уже были обозначены главные особенности его таланта — лирическая естественность, цепкое внимание к “подробностям бытия”, способность объять чувствами внешний мир, захватывающая воля к жизни, — словом, всё, что особенно дорого геологам, романтикам, землепроходцам...*

\* \* \*

Я у рудничной чайной,  
у косога плетня,  
молодой и отчаянный,  
расседлаю коня.  
О железную скобку  
сапоги оботру,  
закажу себе стопку  
и достану махру.  
Два степенных казаха  
прилагают к устам  
с уважением сахар,  
будто горный хрусталь.  
Брючки географини  
все — репей на репье.  
Орден “Мать-героиня”  
у цыганки в тряпье.  
И, невзрачный, потешный,  
странноватый на вид,  
старикашка подсевший  
мне бессвязно твердит,  
как в парах самогонных  
в синеватом дыму  
золотой самородок  
являлся ему,

как, раскрыв свою сумку,  
после сотой версты  
самородком он стукнул  
в кабаке о весы,  
как шалавых девчонок  
за собою водил  
и в портянках парчовых  
по Иркутску ходил...

Удивительно то, что он сам, как персонажи его стихов тех лет — “золотоискатели”, “авантюристы”, “бессеребреники”, “рисковые люди”, — которые своевольно и радостно “брали” его в свою компанию... Удивительно и то, что в годы юности он хотя и смутно, но прозревал своё будущее:

В старой рудничной чайной  
городским хвастуном,  
молодой и отчаянный,  
я сижу за столом.  
Пью на зависть любому,  
и блестят сапоги.  
Гармонисту слепому  
я кричу: “Сыпани!”  
Горячо мне и зыбко,  
и беда нипочем,  
а буфетчица Зинка  
всё поводит плечом.  
Всё, что было, истратив,  
как подстреленный влёт,  
плачет старый старатель  
оттого, что он врёт.  
Может, тоже заплачу  
и на стол упаду,  
всё, что было, истрачу,  
ничего не найду.  
Но пока что мне зыбко  
и легко на земле,  
и буфетчица Зинка  
улыбается мне.

*Декабрь 1956*

\* \* \*

Бывало, спит у ног собака,  
костёр занявшийся гудит,  
и женщина из полумрака  
глазами зыбкими глядит.

Потом под пихтою приляжет  
на куртку рыжую мою  
и мне,

задумчивая,

скажет:

“А ну-ка, спой!..” —

и я пою.

Лежит, отдавшаяся песням,  
и подпевает про себя,

рукой с латышским светлым перстнем  
цветок алтайский теребя.  
Мы были рядом в том походе.  
Все говорили, что она  
и рассудительная вроде,  
а вот в мальчишку влюблена.

От шуток едких и топорных  
я замыкался и молчал,  
когда лысеющий топограф  
меня лениво поучал:

“Таких встречаешь, брат, не часто...  
В тайге всё проще, чем в Москве.  
Да ты не думай, что начальство!  
Такая ж баба, как и все...”

А я был тихий и серьёзный  
и в ночи длинные свои  
мечтал о пламенной и грозной,  
о замечательной любви.

Но как-то вынес одеяло  
и лёг в саду,  
а у плетня  
она с подругою стояла  
и говорила про меня.

К плетню растерянно прикишый,  
я услышал в тени ветвей,  
что с нецелованным парнишкой  
занятно баловаться ей...

Побрёл я берегом туманным,  
побрёл один в ночную тьму,  
и всё казалось мне обманном,  
и я не верил ничему:

ни песням девичьим в долине,  
ни воркованию ручья...  
Я лёг ничком в густой полыни,  
и горько-горько плакал я.

Но как моё,  
моё владенье,  
в текучих отблесках огня  
всходило смутное виденье  
и наплывало на меня.

Я видел —  
спит у ног собака,  
костёр занявшийся гудит,  
и женщина  
из полумрака  
глазами зыбкими глядит.

*6 сентября 1955*

\* \* \*

Заснул посёлок Джеламбет,  
в степи темнеющей затерянный,  
и раздаётся лай затейливый,  
неясно на какой предмет.  
А мне исполнилось четырнадцать.  
Передо мной стоит чернильница,  
и я строчу,

строчу приподнято...

Перо, которым я пишу,  
суровой ниткою примотано  
к гранёному карандашу.  
Огни далёкие дрожат...  
Под закопчёнными овчинами  
в обнимку с дюжими дивчинами  
чернорабочие лежат.  
Застыли тени рябоватые,  
и, прислонённые к стене,  
лопаты, чуть голубоватые,  
устало дремлют в тишине.

*И казахский посёлок Джеламбет, и лай собак тёмной азиатской степи, и закопчённые овчины, и лопаты, блестящие от выкопанных шурфов, и чернорабочие, спящие в обнимку "с дюжими дивчинами", — вся эта проза жизни под пером подростка начинает светиться светом поэзии:*

О лампу бабочка колотится.  
В окно глядит журавль колодезный,  
и петухов я слышу пение,  
и выбегаю на крыльцо,  
и, прыгая,  
собака пегая  
мне носом тычется в лицо.  
И голоса,  
и ночи таянье,  
и звоны вёдер,  
и заря,  
и вера сладкая и тайная,  
что это всё со мной не зря.

1957

\* \* \*

*Георгию Адамовичу*

Играла девка на гармошке.  
Она была пьяна слегка,  
и корка чёрная горбушки  
лоснилась вся от чеснока.

И безо всяческой героики,  
в избе устроив пир горой,  
мои товарищи-геологи,  
обнявшись, пели под гармонь.

У ног студентки-практикантки  
сидел я около скамьи.

Сквозь её пальцы протекали  
с шуршанием волосы мои.  
.....

*“Чёрная горбушка”, лоснящаяся от чеснока, калоши на ногах играющей на гармошке “студентки-практикантки”, “пир горой” в деревенской “избе” — всё это скудное великолепие жизни изображено молодым поэтом с такой любовью, что он посвящает это стихотворенье русскому эмигранту-эстету Георгию Адамовичу, видимо, попросившему сделать это посвящение.*

Играла девка на гармошке,  
о жизни пела кочевой,  
и шлёпали её галошки,  
прихваченные бечевой.

Была в гармошке одинокость,  
тоской обугленные дни  
и беспредельная далёкость,  
плетни, деревья и огни.

Играла девка, пела девка,  
и потихоньку до утра  
по-бабьи плакала студентка —  
её учёная сестра.

*1 августа 1957*